

Ф. Степун

**Из писем прапорщика
артиллериста**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
Ф11

Ф. Степун
Ф11 Из писем прапорщика артиллериста / Ф. Степун – М.: Книга по Требованию, 2013. – 268 с.

ISBN 978-5-458-64023-7

Просто письма. Неизвестного прапорщика-артиллериста из Сибири. Очень молодого, с тараканами слоновьих размеров в голове и дикой тягой к писанию писем. Может кому-то это поможет понять людей того времени. Если бы я озвучил (написал) хотя бы десятую часть того, что писал этот молодой человек, в то что я не употребляю тяжёлых наркотиков никто бы не поверил. Похоже действительно, были тогда люди несколько другой... породы, что-ли...

ISBN 978-5-458-64023-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

мы знаем, но зная — не понимаем, и силясь понять — понять не можем.

Иногда, по вечерам, мы с Андреем Викторовичем занимаемся артиллерийской премудростью: то вычисляем математические формулы, углы, базы и кривые, то упражняемся практически. Я изображаю орудие, а он зарядный ящик, и вот мы крутимся по комнате, исполняя всевозможные повороты, отъезды и подъезды. Он — стриженный машинкой, я — коротким бобриком, какой носил в школе, оба мы без поясов, в ночных туфлях... Наташа сидит и хохочет, говоря, что мы похожи на маленьких мальчиков, играющих в лошадки — мы тоже хохочем, хотя и великолепно, что мы учимся убивать и прятаться от смерти.

Бывают, конечно, минуты, когда ужасный смысл написанной мною фразы воистину понимается, но такие минуты очень редки.

Обыкновенно же последняя цель и сущность войны совершенно так же заграждается и оттесняется целым рядом предпоследних мыслей, действий, событий и мероприятий, как ими же и в мирной жизни заграждается и оттесняется все то, что есть Жизнь жизни, ее последнее и сущностное ядро.

Ужасна война, как материальный факт: как ранение, увечье, убийство, как изуродование лица земли и химическое перерождение ее недр от всюду сгнивающих в ней человеческих и животных трупов. Поверишь ли, иногда я так ярко чувствую, как вся земля мыслит свою упорную кладбищенскую думу.

Но все же этот ужас материального плана еще не самый страшный. Страшнее той смерти, которую сеет война в материальном мире, та жизнь, которую

она порождает в сознании почти всех без исключения людей. Грандиознейшие миры упорнейшей лжи возвышаются ныне в головах всех и каждого. Все самое злое, грешное и смрадное, запрещаемое элементарною совестью в отношении одного человека к другому, является ныне правдою и героизмом в отношении одного народа к другому. Каждая сторона беспamięтно предаёт проклятию и отрицанию все великое, что некогда было вложено духом и гением враждующей с нею стороны в сокровищницу человечества, изменяя тем самым той благодарной «вечной памяти», которую мы обещаем усопшим, когда отпетое церковью тело опускаем в открытую землю.

Но это ещё не все. Более, чем вся эта ложь, смущает и мучает меня та *тьнь правды*, которая ныне, очевидно, лежит на всей этой лжи.

Правда же эта заключается в том, что вражда к врагу рождает громадную любовь к своему народу, к своей родине. Сейчас у нас, наверное, и в Германии тоже, действительно наблюдается такое преодоление косности, своекорыстия и эгоизма, о котором в мирное время даже и подумать было невозможно.

Не ложь, а правда в том, что ныне многие радостно отдают часть своих удобств и средств в пользу раненых и семей запасных. Не ложь, а правда в том героизме, с которым ныне многие переносят раны, смерть и безвестную пропажу своих дорогих и близких. Не ложь, а правда, великая сердечная правда чувствуется ныне отчетливо во всем настроении России, трезвой, сознательной и бескорыстной: чувствуется в толпе, провожающей эшелоны, в вечерней молитве солдат: «Спаси, Господи, люди Твоя», в тех

цветах, которые население несет отправляющимся на войну солдатам и офицера, в тех белых лентах, которыми завязаны эти цветы, в надписях на них: «Спаси вас Господь».

Это письмо я пишу, т. е. продолжаю писать на гауптвахте. Поговорив о войне, перейду к миру. А мир был так прекрасен в понедельник девятого сентября. Но расскажу все по порядку. В понедельник, хотя оный день и был праздничным днем, были назначены занятия, и мы все трое встали в шесть утра и в семь сидели и пили кофе, в ожидании верховых лошадей. За окнами уходило ввысь и вдаль глубокое, синее, холодное осеннее утро. Сидели мы и ждали, ждали и пили, а лошадей все нет и нет. Тут Наташа выразила легкомысленное предположение о возможной отмене занятий. Недолго думая, мы послали денщика к телефону и велели ему позвонить в батарею. Через некоторое время он вернулся с солидным оправданием нашего легкомысленного предположения. Итак, перед нами расстилался свободный от занятий день. Мы решили ехать на Байкал. Но как? Поезда отменены, так как дорога занята военными эшелонами. Хотели на извозчике — просит пятьдесят рублей и может подать только часам к двенадцати дня — поздно... Автомобиль не везет—грязно. Моторной лодке ходу вверх по Ангаре часов восемь... Итак, дело почти гибло... Но нам страшно хотелось попасть на Байкал, а потому мы все же поехали на вокзал. Приехали, и все устроилось как нельзя лучше. Узнали, что через час на Байкал отходит пустой состав товарного поезда. Мы к начальнику станции, к коменданту... разрешили. Выбрали мы себе чистый вагон, попросили его вы-

места, поставили два пустых ящика, положили на них два обчинных кондукторских тулупа и открыли с обеих сторон пролеты. Поезд тронулся. Погода была изумительно хорошая. Дорога до самого Байкала идет все время по горному берегу, то сливающейся в одно русло, то дробящейся на отдельные рукава и усыпанной луговыми и лесными островами, Ангары. Краски не поддаются никакому описанию: светло-зеленые лиственницы (их тут очень много) и темно-зеленые сосны; сильно желтеющие уже, небольшие, горные, очень грациозные березы, изжелта-красные осины и еще какой-то здешний красно-малиновый кустарник. Воды Ангары, то темно-синие, то бледно-зеленые, настолько прозрачны, что на глубоком дне, с движущегося поезда, порою виден каждый маленький камешек. Ехали мы часа два с половиной и стали подъезжать к самому Байкалу. Уже издали потянуло какою-то особенною, морскою, бодрящею свежестью. Вода в Ангаре посинела и потемнела; прибрежные ангарские горы стали расступаться, и, вдруг, прямо на нас глянул громадный темно-синий Байкал с снеговою горною цепью на противоположном берегу.

Приехав на станцию Байкал, мы стали подниматься по лестнице на гору к прибрежному маяку. Поднялись мы на тысячу ступеней, перешли затем на ту гору, под которой Байкал переливается в Ангару, и долго смотрели во все стороны. Направо — море (в одном направлении берега не видно) и снежные горы; налево — прекрасная речная долина, живописно стесненная лесистыми холмами. Над головой бесконечное синее небо, а под ногами у зеленого ската, на маленьком желто-синем треугольнике земли

какой-то игрушечный вокзал, с игрушечными вагонами и заводными людьми и собаками.

Спустившись вниз, мы сели на небольшой, но крепкий и сильный пароход и поехали наискось в селение Листвяничное. Причалив к берегу, пошли вдоль по Байкалу и Остановились на скалистом выступе высоко над байкальскими водами и прямо против снежных гор. Байкал шумел своим вечерним приливом, как море. Краски на вершинах все время незаметно, но беспрестанно менялись. Сначала горы были бледно-желтые и желто-оранжевые, затем они начали нежно краснеть, и над ними, как раскаленные мечи, вспыхнули в небе багровые полосы. Потом, то тут, то там, все плотнее и гуще на горы стали ложиться синие и лиловые тени. Наконец, все умерло в лилово-черном сумраке. Сразу стало совсем холодно и жутко. В семь часов вечера мы возвращались на ст. Байкал уже по совсем черным водам. Теплый день казался не бывшим. Руки в теплой перчатке из козьего пуха невольно прятались в карман, и ноги в шерстяных носках сами плясали по палубе быстрого парходика. Тем же путем, но уже в неосвещенном вагоне четвертого класса, прицепленном к товарному поезду возвращались мы в Иркутск. В усталой от многих впечатлений длинного дня голове, под стук колес, смутно проносились странные думы и образы. Грезилась та бесконечная Сибирь за вагонными окнами, в которую мы ехали из Москвы целых десять дней; вместе с гомоном поезда все еще слышался прибой «священного» Байкала. В углу, две чиновничьи кокарды поносили Вильгельма за то, что он обещал немцам с честью вложить свой меч в ножны, и в памяти пылали солнечные над

снежными вершинами мечи. Казалось, что Кант был глубоко неправ. Живи он не в Кенигсберге, а в Сибири, он наверное понял бы, что пространство вовсе не феноменально, а насквозь онтологично. На Байкале он, вероятно, написал бы не трансцендентальную эстетику, а метафизику пространства. Эта метафизика могла бы стать для немцев ключом к пониманию России. Безумно мечтать о победе над страной, в которой есть Сибирь и Байкал...

По приезде в Иркутск, мы пошли в буфет поужинать. На другом конце длинного стола ужинали два, как нам показалось, отставных стареньких генерала. Лакей прислуживал им с вдохновенною подобострастностью, но они привередничали, ворчали и недовольно тыкали своими вилками по целой стасе окружавших их закусочных тарелок. Старческие глазки слезились, старческие носики морщились, сухие старческие руки привычным жестом расправляли бакенбарды. Не могу тебе передать, как было грустно смотреть на них: чувствовалось, что этим людям не оставалось в жизни ничего, кроме смерти. Уходя домой, я спросил у лакея имена генералов, и с ужасом услышал имена вождей, предназначенных вести нас в бой, имена начальника дивизии и командира бригады, еще ни разу не виданных нами.

Ну, вот тебе и картина Божьяго мира в праздничный день артиллерийского прапорщика.

Что сообщить тебе о моей судьбе, право не знаю. Она темна, моя судьба. Определению готовимся в поход. Одно время думали, что идем на-днях. Теперь снова пока сидим, но все же, наверное, в ближайшие дни пойдем в Россию. Когда пойдем и зачем

пойдем — тайна сия велика есть. Вот все, что могу написать. Пока кончаю...

К матери.

14 октября 1914 г.
Радзивиллов.

Вот уже шестой час стоим мы у австрийской границы и не можем переправиться в виду заваленности дороги военным грузом.

Следы войны здесь, как открытые раны. Сожженные постройки, опаленные кусты, разбитые бронзовые пушки австрийцев, поезда с ранеными, пленными, и на каждой станции страшные рассказы санитаров и врачей. Все эти впечатления я уже не воспринимаю, а умело топлю в своей душе, привязывая каждому к шее тяжелый груз моего упорного нежелания знать.

Человек — существо удивительное; еще так недавно, когда мы подъезжали к Лукову, ожидая с минуты на минуту, что вот нас остановят, высадят и двинут в бой, — ночами, когда эшелон подолгу простаивал в темном поле или против безнадежно-унылого фонаря какой-то неведомой, пустынной, проклятой платформы, — да и в Лукове, мне было, говоря откровенно, совсем не по себе. Особенно скверна была первая ночь, о которой тебе, вероятно, уже много рассказала вернувшаяся Наташа.

Мы расположились биваком между лазаретом для тяжело раненых, кладбищем, все время принимавшим в недра свои наскоро сколоченные гробы, и платформою, у которой беспрестанно выгружались санитарные поезда, прибывавшие из-под Ивангорода. Бедная Божья земля. Всю ночь она содрогалась

от гула орудий. Всю ночь над ней стоял стон выгружаемых раненых. Всю ночь она смотрела в глаза мерцающим звездам темными впадинами впрок заготовленных могил.

Паршивый городишко кипел кипучею жизнью. Когда, темной ночью, я спешил с бивака в гостиницу к Наташе, то я ежеминутно наталкивался на белые с красными крестами повязки, всюду снующих верхами врачей, на ряды носилок с ранеными по правой стороне улицы, на возвращающиеся пустые носилки по левой ее стороне. Господи, как тогда было жутко. А теперь, — мне могут сказать, что мы завтра двинемся в бой, и эта мысль уже не произведет на меня почти никакого впечатления. Я чувствую, как со дня на день все больше свыкаюсь с нею, как она все явственнее и безусловнее определяется новою основою моего духовного существа. Я знаю, пройдет еще немного времени, и, еще столь недавно непереносимая, мысль о бое, окончательно срастется со всем составом моих основных чувств и дум. Как прирученный зверь, она и теперь уже постоянно увивается у моих ног, я прикармливаю ее с рук, а она облизывает мои пальцы...

Кроме своего трагического облика война явила мне здесь и свой отвратительный лик: угнетающая забитость серых солдатских масс, унылые песни в скотских вагонах, бесконечное хамство некоторых «благородней», блистательная глупость блестящих генералов, врачи стратеги и сестры кокетессы...

Впрочем, все это исключения, общий дух безусловно чист, хорош и бодр. Пока кончаю, кажется, скоро тронемся.....

К жене.

28 октября 1914 г.
Ольшаницы (Галиция).

Все время делал все, что мог, чтобы дать о себе знать тебе и маме. Одну телеграмму тебе должен был послать из Львова или из-под Львова Андрей Викторович, который прикомандирован к штабу корпуса и расстался с нами. Вторую телеграмму ты должна была получить снова из Львова, куда нашей батареей был командирован поручик Н. Он уже привез мне квитанцию.

Пользуясь тем, что это письмо не пойдет по почте, пишу тебе нечто вроде дневника.

Простившись с тобою в Лукове, я быстро проскакал на бивак и передал о твоём отъезде; всем стало грустно, привыкли за дорогу. А мне было так тяжело, что и сказать нельзя; сразу стало ясно, что война и позиция и все — все это пустяки, а важно только одно — то, что тебя сейчас здесь нет. В Лукове после тебя мы пробыли дня четыре. Паршивый. в первую минуту, городишка полюбился, все стало знакомым, уютным. Вдруг, приказ: через полтора часа выступление. Собрались — и обратно на станцию; начали грузиться с вечера и прогрузились целую ночь. Устали страшно. Вагончик дали дрянной, маленький-маленький, с короткими лавочками, совсем такой, какой ходил из Боржома в Бакурьяны, останавливаясь в бесконечно милом моему сердцу «Цеми», где на низком балконе, между двумя окнами, завешенными зелеными шторками, уже с поезда виднелась ты, то белым, то желтым, то красным пятном.

Из Лукова, через Радзивиллов, поехали на Львов. В Галицию мы с Романом Георгиевичем въезжали победителями, стоя на передней площадке паровоза. Край совершенно русский, правильнее польско-русский. Население встречало с искренним расположением и явным любопытством. Белые мазанки, пирамидальные тополя, соломенные крыши, православные церкви — одним словом, типичная Малороссия, по всему своему облику и существу глубоко чуждая Германии и германскому духу Австрии. Все это, бесспорно, должно принадлежать России, не по праву войны, а по естеству и облику всего края.

Приехали во Львов. Прекрасный город. От многих слышал, что он напоминает Киев. Из того, что я видел, он роднее всего Варшаве. Пробыли мы в нем только одну ночь. Расположен он на больших холмах; улицы кривые и путаные. Много роскошных зданий, есть и старина. Во Львове мы впервые вошли в общении с холерой, с которой теперь уже ни на час не расстаемся, но к которой окончательно привыкли. Черные бараки, известковые крапления, надписи «Epidemiespital», «Eintritt verboten», и кресты над дверьми домов, где австрийцы помещали своих холерных больных, нас уже совершенно не смущают. Вместе с солдатами, мы твердо верим, что холера ушла с австрийцами и нас не возьмет. Очевидно, вера помогает. За все время умер лишь один солдат, несмотря на то, что мы каждую ночь проводим в холерных местечках. Я тебе уже писал, что во Львове мы в последний раз провели культурный вечер.

Ночевали в прекрасной гостинице, спали на мягких постелях, приняли теплые ванны, ели пу-